

# СИБИРСКО-ФРАНЦУЗСКИЙ ДИАЛОГ И ЛИТЕРАТУРНОЕ ОСВОЕНИЕ СИБИРИ XVII–XX ВЕКОВ



МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО СЕМИНАРА

Под редакцией  
Е.Е. Дмитриевой, О.Б. Лебедевой,  
А.Ф. Строева

---

**Ольга Лебедева**  
(Национальный исследовательский  
Томский государственный университет)

## «НАЗАД К ПРИРОДЕ» ИЛИ «ВПЕРЕД К СОЦИУМУ»: СИБИРСКИЙ ОПЫТ А.Н. РАДИЩЕВА *VERSUS* КОНЦЕПЦИЯ ВОСПИТАНИЯ Ж.-Ж. РУССО\*

### I. Предварительные замечания: Радищев и Руссо

Утверждение о том, что Жан-Жак Руссо — это ключевая фигура в творчестве и идеологических взглядах Радищева, не нуждается в особых доказательствах. Однако несмотря на то, что имя и мысль Руссо сопровождали Радищева в течение всего его творческого пути, проблема «Радищев и Руссо» не нашла достаточного освещения в своем полном объеме, во всяком случае, в отечественном литературоведении<sup>1</sup>, исключая соответствующий параграф в большой работе Ю.М. Лотмана «Руссо и русская культура XVIII — начала XIX века», в которой основное внимание уделено проблеме как сочувственного, так и полемического отношения Радищева к трактату «Об общественном договоре»<sup>2</sup>.

Трудно найти в письменном наследии Радищева текст, в котором так или иначе не появлялись бы прямые или косвенные отсылки к произведениям французского философа. Однако эти отсылки не всегда имеют характер согласия: полемический аспект отношения Радищева к идеологии Руссо тоже совершенно очевиден. Одна из самых ранних таких отсылок, без упоминания имени французского философа, находится в почти дебютном тексте Радищева — переводе трактата Г.-Б. де Мабли «Размышления о греческой истории или О причинах благоденствия и несчастья греков» (1773):

Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние. <...> Если мы живем под властью законов, то сие <...> для того, что мы находим в оном выгоды. Если мы

---

\* Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РГНФ. Проект «Рукописное наследие в книжном собрании Строгановых», № 15-14-70002 а (р).

<sup>1</sup> Ср.: MacConnel A. Rousseau and Radisev // The Slavic and East European Journal. 1964. V. 3. № 3; Witkowski T. Radišev und Rousseau // Studien zur Geschichte der russischen Literatur des 18. Jahrhunderts. Berlin, 1965.

<sup>2</sup> Лотман Ю.М. Руссо и русская культура XVIII — начала XIX века // Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3 т. Таллинн, 1992. Т. II. С. 80–83.

уделяем закону часть наших прав и наша природная власть, то дабы она употребляема была в нашу пользу; о сем мы делаем с обществом *безмолвный* договор. Если он нарушен, то и мы освобождаемся от нашей *обязанности*. Неправосудие государя дает народу, его судии, то же и более над ним право, какое ему дает закон над преступниками. *Государь есть первый гражданин народного общества*<sup>3</sup>.

Г.А. Гуковский в своем комментарии к этому тексту отмечает, что «самая теория, кратко, но необыкновенно отчетливо изложенная в радищевском примечании, формулирует учение об естественном праве, об общественном договоре, о народе, как единственном источнике власти, в том виде, как оно было своеобразно воссоздано Жан-Жаком Руссо в его знаменитой работе “Об общественном договоре или принципы политического права” (“Du contrat social ou principes du droit public”), появившейся всего за 11 лет до радищевского перевода Мабли, в 1762 г. Можно сказать, что примечание Радищева является конспектом “Общественного договора” Руссо, причем Радищев уловил действительно основные узловые положения Руссо» (2, 412). И эти основные узловые положения французского философа останутся для Радищева актуальными на всю его жизнь.

Но уже в 1780-е гг. становится очевидно, что интеллектуальное наследие Руссо русский писатель воспринимает вполне дифференцированно. Так, достаточно резкий отзыв о социальных теориях французских просветителей обнаруживается в заметке [О судопроизводстве] (1780-е гг.):

Монтескию и Руссо с умствованием много вреда сделали. Один мнимое нашел разделение правлений, имея в виду древняя республики, ассийския правления и Францию. Забыл о соседях своих. Другой, не взяв на помощь историю, вздумал, что доброе правление может быть в малой земле, а в больших должно быть насилие (3, 42).

Столь же полемично мнение Радищева относительно личности и исторической роли Петра I, высказанное в «Письме к другу, жительствующему в Тобольске по долгу звания своего» (1782–1790) и

---

<sup>3</sup> *Радищев А.Н.* Полное собрание сочинений: В 3 т. М.:Л., 1952–1954. Т. 2. С. 282. Курсив автора. — *О.Л.* Далее тексты Радищева цитируются по этому изданию с указанием тома и страницы в скобках.

относящееся к одному из замечаний Руссо в его трактате «Об общественном договоре»:

И так вопреки Женевскому гражданину познаем в Петре мужа необыкновенного, название великаго заслужившаго правильно (1, 150)<sup>4</sup>.

Наконец, одно из самых принципиально-полемических высказываний Радищева по поводу идеологии Руссо является интеллектуальной кульминацией одной из самых радикальных глав «Путешествия из Петербурга в Москву» (1790) — главы «Зайцово», повествующей о расправе крестьян над жестоким помещиком и оправдании этой расправы председателем уголовной палаты Крестьянкиным, утверждающим идею естественного права всех людей вопреки сословно-политическим принципам общественного строя:

Ибо гражданин, становясь гражданином, не перестает быть человеком, коего первая обязанность из сложения его происходящая, есть собственная сохранность, защита, благосостояние. <...> Гражданин, в каком бы состоянии небо родится ему ни судило, есть и пребудет всегда человек; а доколе он человек, право природы, яко обильный источник благ, в нем не иссякнет никогда; и тот, кто дерзнет его уязвить в его природной и ненарушимой собственности, тот есть преступник (1, 278–279).

Весьма симптоматично, что сразу за этой декларацией, очевидно насыщенной полемической эмфатикой и имеющей в виду один из принципиально важных тезисов идеологии Руссо, считавшего, что естественный человек не может быть в то же время общественным — декларацией сквозной мысли Радищева о гражданском праве как гаранте естественного права человека, венчающей главу «Зайцово», следует глава «Крестьяцы», в которой Радищев поместил знаменитый

---

<sup>4</sup> Ср.: «Петр обладал подражательным гением: он не обладал настоящим гением, таким, который творит и создает все из ничего. Некоторые из сделанных им нововведений хороши, большинство было неуместно. Он сознавал, что его народ -- варварский народ, но он не сознавал, что он не созрел для гражданского порядка. Он хотел его цивилизовать, когда его надо было только приучать. <...> Он помешал своим подданным стать когда-либо тем, чем они могли быть, уверяя их, что они — то, чем они на самом деле не являются. Именно такое образование дает французский воспитатель своему воспитаннику, чтобы он блистал во время своего детства, а потом не был бы никогда ничем» (Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре, или Принципы политического права. Кн. 2. Гл. VIII. Цит. по изд.: Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. Трактаты. М. 1998).

«воспитательный трактат» крестичского дворянина, увязав, таким образом, эксцессы нравственного облика человека, приводящие к его насильственному умерщвлению, с проблемой воспитания как таковой отчетливой причинно-следственной связью.

Устойчивое и многократно высказанное Радищевым несогласие с руссоистским противопоставлением «человека» и «гражданина» («<...> гражданин, становясь гражданином, не перестает быть человеком»: «Гражданин, в каком бы состоянии небо родиться ему ни судило, есть и пребудет всегда человек») — это выявленный Ю.М. Лотманом самый принципиальный тезис неоднозначного отношения Радищева к идеологии Руссо. Однако этот тезис высказан французским мыслителем не в трактате «Об общественном договоре», а в романе «Эмиль, или о воспитании»:

Раз приходится бороться с природой или общественными учреждениями, надо выбирать, кого делать: человека или гражданина — так как нельзя сделать разом того и другого<sup>5</sup>.

И этот аспект отношения русского писателя к идеологии Руссо, увлекающий в проблематику параллели ранее не упоминавшийся в связи с радищевским отношением к наследию Руссо текст французского философа, побуждает к ее дальнейшему развитию. Тем более что рефлексия на тему соотношения гражданского и естественного права человека является несомненным и изначальным идеологическим лейтмотивом в текстах русского писателя, а начитанность Радищева в традиции французского воспитательного романа не подвержена сомнению — пусть даже через посредство его русских трансляций, ср. эпиграф «Путешествия из Петербурга в Москву», почерпнутый из поэмы «Тилемахида», стихотворной переработки Третьяковским воспитательного романа Ф. Фенелона «Странствия Телемака». Обычно литературоведческая традиция ограничивается смысловым истолкованием этого эпиграфа как символического образа двуединства самодержавия и крепостничества<sup>6</sup>. Мне же хотелось бы обратить внимание на два обстоятельства: жанровую традицию выше упомянутых текстов и тот сюжетный эпизод поэмы Третьяковского, с которыми стих из «Тилемахиды» ассоциативно связан памятью о своем генетическом источнике.

<sup>5</sup> Руссо Ж.-Ж. Эмиль, или о воспитании. СПб., 1913. С. 14.

<sup>6</sup> Кулакова Л.И., Западов В.А. А.Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву». Комментарий. Л., 1974. С. 34; Радищев А.Н. Путешествие из Петербурга в Москву. Вольность. Серия «Литературные памятники». Изд. подг. В.А. Западов. СПб., 1992. С. 664.

Что касается жанра поэмы Тредиаковского, то она является переложением в эпические гекзаметры просветительского государственно-политического воспитательного романа, который сопрягает внешний сюжетный рисунок путешествия с его метафорическим изводом духовного пути, процесса самосовершенствования и самопознания. В русле этой традиции находится и роман Руссо «Эмиль», отчетливо полемичный по отношению к роману Фенелона, поскольку Руссо альтернативно противопоставляет фенелоновой концепции воспитания просвещенного монарха в максимально тесном контакте с социумом как таковым свою концепцию воспитания частного человека в изоляции от любого социума. По справедливому замечанию Г.П. Макогоненко, эпиграф сообщает главной книге Радищева, лишенной жанрового подзаголовка, ярко выраженную тенденцию воспитательного романа<sup>7</sup>.

Если же говорить о сюжетном эпизоде, с которым эпиграф к «Путешествию» ассоциативно связан, то слегка перефразированный Радищевым стих Тредиаковского «Чудище обло, озорно, огромно, с тризвонной и лаей», как известно, изображает трехголового пса Цербера, стерегущего вход в Аид<sup>8</sup>. И если учесть то обстоятельство, что образ Цербера вынесен на титульный лист книги — следуя сразу за ее названием, но до посвящения «А.М.К.» и основного текста, то приходится признать, что предваренный этим эпиграфом текст является не чем иным, как словесным образом пространства Аида, древнего царства мертвых, в котором эпический герой-странствователь, будь он древним греческим Одиссеем, чуть менее древним, но все же античным латинским Энеем или французским Телемаком Нового времени, проходил своеобразную инициацию, видя муки неправедных, постигая нравственные законы на примерах людей, получивших посмертное воздаяние за преступление этих законов — и в результате этой инициации возвышался духовно. Несомненно то, что подобная ассоциация многократно усиливает дидактическую эмфатику радищевской книги, выдвигая на первый план ее рецепции идею воспитания души и окончательно превращая лишенный жанрового определения текст именно в воспитательный роман.

<sup>7</sup> Макогоненко Г.П. Радищев и его время. М., 1956. С. 491–495.

<sup>8</sup> В романе Фенелона (и, соответственно, в поэме Тредиаковского) этот эпизод относится к сошествию Телемака в Аид, где он наблюдает мучения злых царей, видящих свое отражение в двух зеркалах: в зеркале Лести и в зеркале Истины: в этом последнем они видят себя чудовищами, более безобразными, чем Лернейская гидра и пес Цербер: см.: Кулакова Л.И., Западов В.А. А.Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву». Комментарий. С. 34.

Однако же необходимо заметить и то, что радищевское воспитательное «Путешествие» — в том, что касается буквального смысла этого слова — до некоторой степени явилось результатом априорных умозрительных идей писателя, путешествия не столько физического, сколько метафорического, духовного, совершенного по страницам книг и в пространстве мысли. И как это уже произошло с ним однажды, в случае с «Житием Федора Васильевича Ушакова», моделирующим закономерности протекания и закономерный результат (вернее, полную безрезультатность) социального бунта до исторического опыта Великой французской революции, подтвердившей справедливость выводов писателя, его априорный анализ в «Путешествии» оказался через несколько лет абсолютно подтвержден ходом реальной собственной биографии автора книги. Вынужденное путешествие, совершенное Радищевым в Сибирь, дало ему тот самый личный опыт, который доказал справедливость его теоретических умопостроений о методах воспитания и необходимых условиях его успешности.

Предлагаемая статья посвящена одному частному случаю поставленной проблемы — влиянию сибирского опыта Радищева на его идеологические взгляды в том, что касается природы человека и его предназначенности к социальной или уединенной на лоне природы жизни. Соответственно, в центр проблематики выдвигаются два вопроса: это рефлексия Радищева о «естественном человеке», которого он имел случай наблюдать в период своей сибирской ссылки и в положении которого отчасти оказался сам в своей вынужденной социальной изоляции, а также отражение и смыслы этой рефлексии в документальных и художественных текстах писателя указанного периода.

## **II. «Естественный человек на лоне природы» в «сибирском тексте» Радищева**

В большом контексте письменного наследия А.Н. Радищева материалы, относящиеся к периоду его сибирской ссылки (дневники путешествия в Сибирь и из Сибири, письма 1790–1796 гг., «Краткое описание Тобольского наместничества», «Письмо о китайском торге», «О человеке, о его смертности и бессмертии», «Сокращенное повествование о приобретении Сибири»), формируют потенциально единый и концептуально целостный текст.

Реальная жизнь Радищева изобиловала путешествиями. В молодости, отправляясь учиться в Лейпцигский университет, писатель со-

вершил путешествие в Европу. И своего рода «европейским» текстом его творчества стали произведения, написанные до ссылки: «Письмо к другу, жительствовавшему в Тобольске по долгу звания своего», «Житие Федора Васильевича Ушакова» и «Путешествие из Петербурга в Москву». Их главная идеологема, безусловно, генетически укорененная в духовном и визуальном опыте пребывания Радищева в Европе, идеологема духовного освобождения каждого отдельно взятого человека как неперемennого условия социальной свободы гражданского общества, стала основным уроком европейской цивилизации, который русский писатель извлек из своих штудий в Лейпцигском университете, а также усвоил из философских, политэкономических и социологических трудов французских просветителей, главным образом, Ж.-Ж. Руссо и К.А. Гельвеция.

Таким образом, тексты Радищева, базирующиеся на опыте его знакомства с жизнью и культурой Западной Европы, являются не столько открытым, сколько косвенно-европейским текстом: будучи абсолютно лишены каких бы то ни было фактографических материалов и бытовых реалий, маркированных своей принадлежностью топосу Европы, они снимают лишь духовно-идеологический пласт европейской жизни и культуры — и именно он обладает сюжетобразующей функцией.

Напротив, путешествие в восточном направлении, в Сибирь, демонстрирует почти полное и, можно сказать, концептуальное отсутствие эстетических (при резком сокращении идеологических) факторов. Все, что Радищев пишет в ссылке, не выходит за рамки системы чисто документальных жанров, имеющих лишь парциальное отношение к изящной словесности и строго соответствует жанровым законам эпистолярия, дневников и путевых заметок в их документальном варианте. Однако это только на первый взгляд, потому что уже второй немедленно обнаруживает тождество документальных жанровых форм, в которые Радищев укладывает свои сибирские впечатления, именно тем жанровым формам, которые стали эстетическим выражением его впечатлений от жизни Западной Европы.

Единственное, что здесь принципиально меняется — это сюжетно-смысловая доминанта стабильных во всем остальном жанровых структур: если в творчестве Радищева до ссылки абсолютно преобладала патетика переживания, ставшего мыслью, «осердеченная идея», для которой пластические реалии, визуальные впечатления, топографические и этнографические подробности составляли не более чем субстрат выстроенного на их основе духовно-идеологического миробраза, то в текстах периода сибирской ссылки в область субстрата и



потенциала уходит духовный путь идеологического роста, а на первый видимый план повествования выдвигаются именно выстраивающие детализированный географически-бытовой мирообраз реальности. Зачастую они даны только в простом номинативном перечислении, подчеркивающим их особую, самостоятельную ценность.

В самом начале своего сибирского пути Радищев, сформулировал эту установку:

Когда еду, стараюсь замечать положение долин, буераков, гор, рек; учусь в самом деле тому, что иногда читал в истории земли: песок, глина, камень, все привлекает мое внимание <...>. Но что может рассудок над чувствованием? Я по себе теперь вижу, что разум идет чувствованиям вслед или ничто иное есть, как они (З, 345)<sup>9</sup>.

Эта декларация содержит в себе два ключа, которые позволяют реконструировать общее направление мысли ссыльного писателя. Первый ключ поясняет причины интенсивности физико-географических и этнографических реалий, абсолютно преобладающих в мотивном составе сибирских текстов и генерирующих многочисленные природоописания, в художественном наследии Радищева до сибирской ссылки практически отсутствовавшие. Сила визуальных впечатлений начитанного в Руссо путешественника, некогда умозрительно реципировавшего из трудов французского философа идею «естественного человека» на лоне природы, но никогда не видевшего эту самую природу в ее чистом виде и никогда не жившего этой самой естественной жизнью, и в Сибири впервые столкнувшегося с абсолютно естественной — вплоть до нетронутости — природой и абсолютно естественным — вплоть до дикости — человеком, оказывается настолько велика, что совершенно истребляет из дневниковых заметок Радищева все, что хоть сколько-нибудь напоминает развернутую духовно-идеологическую рефлексию. Типичная мотивная структура дневников путешествия в Сибирь и из Сибири — это топо- и этнографические заметки, выдержанные в номинативно-перечислительной интонации.

По дороге к месту ссылки, которая заняла больше года, Радищев получил наглядное представление о масштабах пространства, которое функционировало в сознании среднестатистического жителя

---

<sup>9</sup> Радищев А.Н. Полн. собр. соч.: В 3 т. М.:Л., 1952. Т. 3. С. 345. Далее тексты Радищева цитируются по этому изданию за исключением особо оговоренных случаев.

европейской России как абстрактно-умозрительный топоним «Сибирь», если и насыщенный какой-то конкретикой, то в лучшем случае не более чем литературной, такой, например, как отвлеченная риторическая образность торжественных од Ломоносова:

Хотя всегдашними снегами  
Покрыта северна страна, <...>;  
В моей послушности крутятся  
Там Лена, Обь и Енисей,  
Где многие народы тшатся  
Драгих мне в дар ловить зверей;  
Едва покров себе имея,  
Смеются лютоści Борея;  
Чудовищам дерзуют вслед <...><sup>10</sup>.

Характерно, что круг чтения писателя в период его сравнительно долговременной остановки в Тобольске демонстрирует его осознанное стремление к тому, чтобы откорректировать свои эмпирические наблюдения путем сравнения их с наблюдениями других путешественников по Сибири. В письмах А.Р. Воронцову дважды возникает имя французского путешественника и естествоиспытателя Ж.-Б.-Б. Лессепа: в марте 1791 г. Радищев просит прислать ему в Тобольск книгу «Путешествие Лессепова по Камчатке и южной стороне Сибири»<sup>11</sup> — и, скорее всего, эта просьба не предшествует чтению, а вызвана состоявшимся знакомством с книгой, потому что уже в апреле этого же года (а в течение одного месяца книгу, запрошенную в Тобольск из Петербурга, получить было просто технически невозможно) Радищев сообщает своему корреспонденту:

<...> я прочел здесь новые книги: «Путешествие Лессепа», которое, действительно, является произведением человека, странствующего на почтовых <...> (3, 362).

Вполне возможно, что придаточное предложение имеет в виду «Путешествие из Петербурга в Москву» — умозрительное и интеллектуальное странствие по социальным структурам русского обще-

<sup>10</sup> Ломоносов М.В. Избранные произведения. Л., 1986. С. 118, 125–126.

<sup>11</sup> Название книги приведено в редакции ее анонимного русского перевода (М., 1802), который составителями библиографического указателя «История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях» под ред. П.И. Зайончковского атрибутирован Радищеву, см.: Указ. изд. М., 1976. Т. 1. С. 194.

ства, композиционно нанизанное на цепочку почтовых станций от Петербурга до Москвы, которые являются в этом случае не столько реальными городами, сколько функциями: столицы Государства Российского, древняя и новая — это метафорический заместитель идеи русской государственности.

Рудименты подобной метафористики очень очевидны в этнографических заметках радищевских дневников путешествия в Сибирь и из Сибири — описания местных нравов неизменно заканчиваются соображением о том, что «<...> все, что здесь входит в употребление, заимствуется от несчастных, сюда присылаемых на жительство <...>, от помещенных приезжих из России в губернском штате» (3, 364). Подобный взгляд, отчасти дифференцирующий Россию и Сибирь на разные топосы, но отчасти и объединяющий европейскую, цивилизованную, и азиатскую, естественно-природную, территории государства, очень хорошо соответствует тому, что Радищев увидел в самих озираемых им сибирских пространствах, по определению двойственных: его восприятие Сибири усваивает дихотомичность, присущую самому сибирскому топосу:

Издавна не нравилось мне изречение, когда кто говорил: так водится в Сибири; то или другое имеют в Сибири — и все общие изречения о осьмидесяти тысячах верст; теперь нахожу сие вовсе нелепым. Ибо как можно говорить о земле, которой физическое положение представляет столько разнообразней, <...>; где и политическое положение, и нравственность жителей следуют неминуемо положению естественности; где подле дикости живет просвещение, подле зверства мягкосердие; где черты, пороки от ошибок и злость от остроумия отделяющие, теряются в неизмеримости земель пространства и стуже за 30 градусов? (3, 356).

Я не в состоянии подробно описать Вашему сиятельству различные чувства, какими была объята душа моя во время проезда по сему краю. <...> кроме берегов реки, населенных добровольными поселщиками, и большой дороги, принудительно заселенной, — все пусто. Часто проходишь по лесам, куда не проникала разрушающая рука человека. Но почему же душа опечаливается, видя страну, избежавшую опустошения, произведенного человеком? Человек часто такой друг человеку, что для того, чтобы жить с себе подобными, он согласится скорее на беспокойную жизнь разбойника, чем на глубоко спокойную жизнь пустытника (3, 391–392).

И постепенно в таких заметках, вибрирующих между двумя полюсами культурно-топологической самоидентификации их автора, не только урожденного европейца и убежденного европейца по образованию, но и вынужденного сибиряка, проявляется если не сам путь духовно-интеллектуальной эволюции писателя, то направление этого пути: назревание концептуального идеологического протеста против руссоистской апологии естественного человека<sup>12</sup>:

Ах, я сказал бы, что обширность знаний у просвещенных народов оторвала миллионы людей от первобытного счастья, от блаженства естественного состояния, если можно так выразиться, от жизни спокойной и простой, так как принудительный переход из одного состояния в другое, даже в лучшее, дает себя почувствовать с хорошей стороны часто лишь по прошествии столетий, и так же часто ярмо, наложенное изменением состояния, тяготеет еще и на отдаленном поколении, вкушающем уже плоды этих изменений. Настолько человек естественный силен в человеке общественном!

Проживая в огромных сибирских лесах, среди диких зверей и племен, часто отличающихся от них только членораздельной речью, силу которой они даже не в состоянии оценить, я думаю, что и сам превращусь в конце концов в счастливого человека по Руссо и начну ходить на четвереньках. Этот г-н Руссо, как мне сейчас кажется — опасный сочинитель для юношества, опасный отнюдь не своими правилами, как это обычно считают, но тем, что он весьма искусный руководитель в науке чувствительности, а это почтенное качество <...> не стоит подчас и ломаного гроша, так как обычно идет в сочетании с тщеславием. <...> (3, 428–429).

И если правда, что можно дойти до высшего презрения к адамову роду <...>, то никогда еще не было страны, более его порождающей, чем нами обитаемая. Не думайте, однако, обвинять меня в ненависти к человечеству, вы бы ошиблись! Чем старше я становлюсь, тем более чувствую, что человек есть существо общественное и созданное, чтобы жить в обществе себе подобных (3, 477–478).

Если же теперь прибавить к этой идеологической декларации излюбленного тезиса Радищева о необходимости для человека

<sup>12</sup> См. об этом: *Макогоненко Г.П.* А.Н. Радищев и его время. М., 1956. С. 159–161.

«общежительства»<sup>13</sup> еще и скупые заметки о характере местного естественного населения, то на втором плане его документалистики четко обозначается конечный пункт духовно-интеллектуального пути, проделанного писателем в ссылке.

Характерно, что эти заметки выстроены Радищевым в компаративном ключе: писатель сравнивает среднестатистические русско-европейский и русско-сибирский варианты национального характера, отмечая в сибирском те черты, которые явно инспирированы местными условиями. Например, любовь сибиряков к лукавству и хвостовству прокомментирована им следующим образом: «Не заложено ли в самой природе вещей, что охотник всегда лгун?» (3, 453). Та же самая каузальная связь между условиями жизни и характером очевидна в замечании о нелюбви местного населения к новшествам и общению с людьми — но рядом с этими естественными соответствиями обнаруживается и парадокс бóльшей, так сказать, гражданской цивилизованности и законопослушности сибирского местного жителя по сравнению с его европейским собратом: «<...> если в России человек из народа мстит, прибегая к физической силе, то сибиряк, желая отомстить, говорит: “я его доеду <...> бумажкой»» (3, 453) — то есть, прибегнув к силе закона. Надо полагать, что убежденному противнику древнего закона «око за око» («Житие Федора Васильевича Ушакова») эта черта сибирского характера не могла не импонировать — как подтверждение уверенности Радищева в преимуществе гражданского права над правом естественным — той самой аксиомы, которая стала главным уроком его знакомства с жизнью Западной Европы, которая со всей силой убедительности высказана им в «Житии Федора Васильевича Ушакова» и наиболее ясно выразилась в почти единственном художественном тексте писателя, написанном в период или сразу после сибирской ссылки — «Дневнике одной недели» (если принять гипотезу о сравнительно позднем — от 1795 до 1801 гг. времени возникновения этого текста)<sup>14</sup>. И «Дневник», инспирированный сибирским опытом писателя, подтверждает именно те концептуальные несовпадения Радищева с воспитательной идеологией Руссо, которые уже наметились в его творчестве до ссылки.

---

<sup>13</sup> Макогоненко Г.П. Указ. соч. С. 161.

<sup>14</sup> О проблеме датировки «Дневника одной недели» см.: Галаган Г.Я. Герой и сюжет «Дневника одной недели»: Вопрос о датировке // XVIII век. Сб. 12. Л., 1977. С. 67–71.

### III. «Дневник одной недели»: что случается с человеком, если он лишен общества?

Маленький психологический этюд под названием «Дневник одной недели» — одно из самых загадочных произведений Радищева: время создания этого не напечатанного при жизни Радищева текста до сих пор точно не установлено. Диапазон предлагаемых датировок очень велик: от 1773-го до 1801-го г.<sup>15</sup> Наиболее вероятным в этих хронологических рамках представляется начало 1790-х гг. — не только потому, что эта дата аргументирована наиболее убедительно, и эту версию поддерживает большинство исследователей, но и потому, что сюжетная ситуация «Дневника» явно соотнесена с исходной ситуацией «Путешествия из Петербурга в Москву», только в обратном смысле. Если путешественник уезжает один, оставляя в Петербурге друзей, о которых тоскует, то герой «Дневника» покинут в Петербурге уехавшими друзьями; с ним наяву сбывается кошмарное сновидение путешественника, посетившее его в главе «Выезд»: в сюжете этого сновидения впервые очевиден скрытый протест Радищева против одиночества на лоне природы, ср.:

**«Путешествие из Петербурга в Москву»:** Отужинав с моими друзьями, я лег в кибитку. <...> Расстаться трудно, хотя на малое время, с тем, кто нам нужен стал на всякую минуту бытия нашего. <...> *Един, оставлен, среди природы пустынный! Вострепетал. — Несчастной, — возопил я, — где ты? <...> Неужели веселости, тобою вкушенные, были сон и мечта?* (1, 228).

**«Дневник одной недели»:** Уехали они, уехали друзья души моей в одиннадцать часов поутру. <...> едва сон сомкнул мои очи, — друзья мои представились моим взорам, и, хотя спящ, я счастлив был во всю ночь <...> (1, 262). <...> *как можно человеку быть одному, быть пустыннику в природе!* (1, 139. Курсив мой. — О.Л.)

Но не только эта переключка наводит на мысль, что «Дневник» мог быть написан близко по времени к «Путешествию» и порожден именно опытом сибирской ссылки. Один из аргументов в пользу его

<sup>15</sup> *Макогоненко Г.П.* Радишев и его время. С. 149–163. *Берков П.Н.* «Гражданин будущих времен» // Известия отделения литературы и языка АН СССР. 1949. Т. 8. № 5. С. 401–416; *Кулакова Л.И.* О датировке «Дневника одной недели» // Радишев. Статьи и материалы. Л., 1950. С. 148–157. *Галаган Г.Я.* Герой и сюжет «Дневника одной недели». Вопрос о датировке // XVIII век. Сб. 12. Л., 1977. С. 67–71.

датировки началом 1790-х гг. связывает стимул к написанию «Дневника» с публикацией первого из карамзинских «Писем русского путешественника»: очевидно тональное и структурное совпадение первых фраз карамзинского письма и радищевского «Дневника»<sup>16</sup>; Карамзин не мог знать «Дневника одной недели», а вот Радищев вполне мог прочесть номер «Московского журнала», даже и в Сибири: А.Р. Воронцов исправно снабжал ссыльного писателя литературными новинками, ср.:

**Карамзин:** Расстался я с вами, милые, расстался! Сердце мое привязано к вам всеми нежнейшими моими чувствами, а я беспрестанно от вас удаляюсь и буду удаляться!<sup>17</sup>

**Радищев:** Уехали они, уехали друзья души моей в одиннадцать часов поутру... Я вслед за отдаляющеюся каретою устремлял падающие против воли моей к земле взоры. Быстро вертящиеся колеса тащили меня своим вихрем вслед за собою, — для чего, для чего я с ними не поехал?.. (1, 262)

Одиннадцать дневниковых записей, озаглавленных днями недели, дают крайне мало сведений о личности автора и обстоятельствах его жизни. Из них можно установить только то, что он живет в Петербурге и занимает довольно высокий пост в служебной чиновной иерархии: «<...> должность требует моего выезда, — невозможно, но от оногo <...> зависит благосостояние или вред твоих сограждан, — напрасно» (264). Субъект повествования в «Дневнике» — это такая же обобщенная лабораторная модель, как и герой-путешественник, человек вообще, экспериментальная фигура, на место которой может быть подставлена любая индивидуальность. Но если герой-путешественник наделен единством сердца и разума, то в герое «Дневника» преобладает эмоциональное начало. Препарируемое в «Дневнике» чувство неоднозначно. Оно имеет две модификации: это любовь к друзьям и острое чувство одиночества, в которое она переходит в связи с их отсутствием. Главное в психологическом анализе «Дневника» — доказательство общественной природы по видимости самого интимного и частного чувства, поскольку и любовь, и чувство одиночества возможны только в контексте социальных связей человека.

В «Дневнике» опровергается основной тезис Руссо: человек по природе добр, злым его делает порочная цивилизация и общест-

---

<sup>16</sup> Берков П.Н. «Гражданин будущих времен». С. 415.

<sup>17</sup> Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. Л., 1984. С. 5.

во; избавь человека от их влияния, и он вернется к своему естественному состоянию доброты. Именно в эту ситуацию социальной изоляции Радищев ставит своего героя, и психологический анализ «Дневника» доказывает с математической неизбежностью обратный результат подобного эксперимента. Добрый и любящий своих друзей герой, лишенный их общества, начинает испытывать злые мстительные чувства. Настроения дней недели, перетекая от одной эмоции к другой, незаметно преобразуют любовь, самое гуманное из всех человеческих чувств, в состояние, близкое к ненависти:

Жестокие, ужели толико лет сряду приветствие ваше, ласка, дружба, любовь были обман? — <...> Но они не едут, — оставим их, — пускай приезжают, когда хотят! приму сие равнодушно, за холодность их заплачу холодностию, за отсутствие отсутствием <...>. Пускай забывают; я их забуду... (1, 267).

Полемическая направленность сюжета против воспитательной концепции Ж.-Ж. Руссо совершенно очевидна. Как уже было сказано, нетрудно заметить, что руссоистская концепция воспитания частного человека насквозь альтернативна идеологии политико-государственного воспитательного романа Фенелона, трактующего о воспитании монарха в просветительном путешествии, которое знакомит будущего идеального властителя с примерами разных систем государственности. И по этой линии открывается глубокая связь «Дневника» с «Путешествием», поскольку в последнем Радищев спроецировал идеологию и методологию воспитательного романа Фенелона на систему социальных связей и эмоционально-интеллектуальный уровень жизни частного человека.

Дневниковая форма повествования от первого лица, эстетически близкая повествовательной манере записок о путешествии, типологическая общность образов героев-аналитиков, один из которых преимущественно рационален, а другой эмоционален, взаимодополняющие социальные позиции этих героев, симметрично-зеркальные сюжетные ситуации, в которые помещены герой-странствователь, на время покинувший своих друзей, и герой-домосед, временно покинутый своими друзьями — эти точки пересечения «Путешествия из Петербурга в Москву» и «Дневника одной недели», если учесть еще и инверсию жизненной ситуации Радищева в сюжетной ситуации «Дневника» — все это позволяет рассматривать «Дневник» как своеобразную диалогическую реплику к главному произведению Радищева: «Путешествие» и «Дневник» доказывают



разными способами один и тот же антируссоистский тезис: необходимость для человека общежития. И практически невозможно переоценить решающую роль опыта жизни в социальной изоляции на лоне, может быть, и прекрасной, но абсолютно индифферентной, если не сказать прямо враждебной, человеку сибирской природы в окончательной кристаллизации этой гуманной идеи русского сентименталиста.